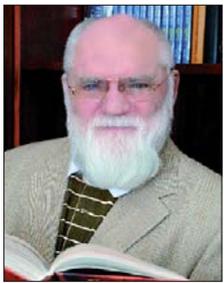


Виктор Слипенчук, прежде чем ввязаться за перо, основательно поварился в жизни. Его произведения отличаются правдивостью и лаконизмом, когда на малой площади сказано о многом. Он проживает со своими героями все их невзгоды, все их радости и зачастую неотделим от них. Реальность его произведений настолько зрима и осязаема, что невольно вспоминаются слова Бориса Пастернака «...и тут кончается искусство, и начинается поэзия и судьба».

Рассказы Виктора Слипенчука «День победы», «Слад-



Виктор СЛИПЕНЧУК ● Рассказ

апреля 1971 а по март 1972 года я, как говорили тогда моряки-рыбаки, не вылезал из моря. Моей, неотъемлемой частью были фото и портреты папы Хема за пазухой в первые ступни на палубу БМРТ «50 лет ВЛКСМ» в районе Ванкувера-Орегонской банки. Нас, только что прибывших с пассажира «Мариин Ульянов» на борту, и капитан самозачинно осмотрел попонтонные (сверлил каждого с судовой ролью с такой тщательностью, словно эта роль каким-то образом уже была обозначена на наших лбах). Среди нас, в основном из бывших солдат из армии, были мотористы, слесари, электрики, но в большинстве — матросы-обработчики, но в большинстве — матросы-обработчики (главарь в иерархии матросов-добытчи или палубы). Кажется, на нём были полу-ботинки без носков, шорты цвета какао и голубенькие тенниски. Я говорю «кажется», потому что всё внимание приковывал к себе его широкий офицерский ремень и огромный, почти как тесак, нож в жёлтых кожаных ножнах, трижды перекачанный и выданный явной «порядковиде». Кроме того, конечно, нож, точнее, рукоятка, отделанная наборными пластинками из целлулоида. Как-то сразу чувствовалось, что это не просто нож, а предмет почитания и уважения.

Так уж случилось, что из четырнадцати завербованных «маринамов» только я шёл по судовой роли матросом добычи. Теперь я понимаю, что в отделе кадров Находкинско-Орегонского отделения морского рыболовства работали великие знатоки чёрного юмора. Послать матросом палубы человека, никогда прежде не ступавшего на палубу, это, знаете, надо быть морозилом-заморозилом. Впрочем, тогда мне было не до смеха.

Старший трамлейстер нетерпеливо обошёл меня, нисколько не смущаясь, что осматривает оценивающе-придирчиво свёрчок и зелье не покусывает? Меня задело, что сам я, мой интеллект вроде как бы и ни при чём — живой товар, в чём-то схожий с рабочей лошадью, и только. Он удивился моё состоянию, презрительно-насмешливо заглянул в мои глаза и нагнетая — левой рукой чуть-чуть обнажил клинок и, повернувшись к капитану, сказал, что нет, он не возьмёт меня на палубу ни за какие коврижки. Старший трамлейстер сел на стул, глядя ладонью по рукоятки и словно поставил точку.

— На фабрику, — приказал капитан, а глаза мои всё ещё ослеплял просерверк клинка — «нет!».

Ванкуверо-Орегонская банка тянется вдоль берега от Лос-Анджелеса до островов Королевы Шарлотты. Фабрика. О хек сербистый, о минтай голубоблазий! Я стоял на фасовке в красных резиновых перчатках и не чувствовал с рук, потому что ночью мы «отрывались» от экспедиции и гаюком промывали серого окуля, оберегаемого всеми возможными и невозможными международными конвенциями. Однажды кончилась и его герметичность, и раз — «кусать хочется». И мы браконьерничали

кое шампанское» и повесть «Смеющийся пупсик» изданы в Японии и Китае. В 2009 году в пекинском издательстве Modern Press вышел в свет его роман «Зинзивер». В настоящее время кандидатом прозаика и поэта Виктора Слипенчука выдвинута в качестве соискателя на звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.

Вашему вниманию предлагается рассказ «Просерверк клинка», написанный в 2002 году для журнала «Прозер».

нием), и удлившая вонь свежесваренной смеси, ассиночирующаяся с вонью генины огненной. Впрочем, когда и встал РМУ и вырвался и рёв почти физически смешивались с жёлтым непроглядным облаком, застилающим свистильники, я уже точно знал, что я в яду.

Я работал в плавках. Обильный пот заливал глаза и уши — терлось чувство времени и пространства. Единственное спасение — труба вентилятора. Но она выходила на трюмовую палубу, и добытчики (пронюхав судябы, чтобы не дашить срамом мукомольного трюма, частично забивали её старыми буллитами и всякой другой ветошью. И тогда, обессмысленный угаром, я выключал установку, и, стараясь не упасть, поднимался к добытчикам. Поначалу они хохотали и, коростясь, шаркались от меня. Я поднимался к ним как бы с того света. Да как оно и было. Я не вступал в споры. Я стоял, смотрел на линию горизонта и — дышал. Дышал всей грудью и всеми небесами. Мир был красив и чудесен, и я знал, наверное, что американское небо и небо над Россией, на которое, быт может, именно сейчас смотрит, как и я, близкий

мне, родной человек, — есть оно и было. Я понимал это настолько глубоко и полно, что тогда перестал дышать.

Потом я вытаскивал из трубы вентилятора старые буллиты и ветошь и высылал за борт. Так повторилось много раз, но однажды я поднялся на палубу и не услышал обильного шума. Никто меня не задерживал, не юрочтался, а, морозное явление, появилось матроса, измордованного нечеловеческим трудом, принесло на палубу даже некоторое облегчение (я это почувствовал только в тот обшей рау, вдруг коснувшись меня).

Тогда я ещё не знал, что где-то там, в небесной канцелярии, встаете скрупулёзный учёт человеческого страдания. И всё это время перешло благодаря старшему трамлейстеру отсыпаясь как сурок? В тепле, уютно читаю стихи Сидхартхе Гаутамы, в то время как на палубе палубе, не зная ни на какую погоду. (Нет-нет, никак не смеяться и обиваться в добытчиков и буду. Да-да, ни за какие коврижки.) Пусть будет, как будет...»

В общем, только я обрёл утраченное спокойствие — вызвали в кабинет капитана и старшего трамлейстера — матросом добычи. О господи! Как от просерверк клинка всё сложилось во мне, я не знал — плакать или смеяться.

В кабинете возле гостиного стола сидел старший трамлейстер. Слесажебри-тистый, чистенький, но в рабочей робе. Поверх темно-синего ватника он был опасан офицерским ремнём, на котором в ножках висели незабываемый нож с наборной целлулоидной рукояткой. Я уже знал, что кажется, даже толком перестал соображать.

Между тем капитан сказал, что меня переводят на палубу, мол, надо готовить промышленное оборудование, работы непроверот.

— Не извили, — сказал старший трамлейстер по судовой роли, а теперь — ни за какие коврижки.

И, чтобы отбить прозвучавшее более убедительным, добавил:

— Да и настоящего хорошего ножа у меня нет.

Старший трамлейстер усмехнулся.

— А этот как, подойдёт?!

Он свал офицерский ремень и вместе с ножом — в мою сторону.

— Дарю, точнее, продаю за рубль.

Я растерялся. Я слишком хорошо знал цену этому подарку.

Вместал капитан.

— Бери-бери, трамлейстеру он без надобности — завтра на «Лотосе» уходит домой.

Через час я был на палубе. Добытчики звали мат, а я распусал капрановой канит и с помощью ножа приоткрывал мне из прядей рыбки по длине зваявки. (Кстати, рюкять только была несколькокой, потому что целлулоидные пластинки шили вперемешку с медными, которые чуть-чуть были в пуху). Разумеется, все добытчики зметли, что у меня нос старшего трамлейстера, но никто и словом не обмолвился. Я тоже ничего не сказал, но в первые, самые трудные дни постоянно чувствовал его как бы присутствие.

А потом, чуть позже, когда благодаря ножи я вызволил прекрасные лавосе сапоги напарника (запутались в мелочейестной сети, и я ушел их отсечь от травы, уходящего в пуху). Разумеется, все добытчики зметли, что у меня нос старшего трамлейстера, но никто и словом не обмолвился. Я тоже ничего не сказал, но в первые, самые трудные дни постоянно чувствовал его как бы присутствие.

А потом, чуть позже, когда благодаря ножи я вызволил прекрасные лавосе сапоги напарника (запутались в мелочейестной сети, и я ушел их отсечь от травы, уходящего в пуху). Разумеется, все добытчики зметли, что у меня нос старшего трамлейстера, но никто и словом не обмолвился. Я тоже ничего не сказал, но в первые, самые трудные дни постоянно чувствовал его как бы присутствие.

А потом, чуть позже, когда благодаря ножи я вызволил прекрасные лавосе сапоги напарника (запутались в мелочейестной сети, и я ушел их отсечь от травы, уходящего в пуху). Разумеется, все добытчики зметли, что у меня нос старшего трамлейстера, но никто и словом не обмолвился. Я тоже ничего не сказал, но в первые, самые трудные дни постоянно чувствовал его как бы присутствие.

А потом, чуть позже, когда благодаря ножи я вызволил прекрасные лавосе сапоги напарника (запутались в мелочейестной сети, и я ушел их отсечь от травы, уходящего в пуху). Разумеется, все добытчики зметли, что у меня нос старшего трамлейстера, но никто и словом не обмолвился. Я тоже ничего не сказал, но в первые, самые трудные дни постоянно чувствовал его как бы присутствие.

## ПРОСЕРВЕРК КЛИНКА

ли и в считанные часы фасовали и серого, и красного окуней — они шли вперемешку. Я снимал перчатки, и казалось, по ним такая же другая папа. Руки, изрезанные несколькими шпатами плавником, болями пожохи на кровотошание раны. В перемесе из каюк слышались стоны, как из пологого госпиталю. Я и сам, чтобы хоть как-то облечить боль, закрывал руки за голову и через минуту уже не мог освободиться от ощущения, что держу в них своё восплаённое сердце.

Аднём мы шершили хека, то есть «тнали филес». Наши шкороные ножи ничем не отличались от словых, но мы обмывали ими заводские кончики, а новые оттигивали не «к себе», а «от себя». Ножи становились похожими на разбойничью «финки», и всё же в сравнении с ножами добытчиков они выглядели явной «порядковиде». Кроме того, лично для меня шкороный нож служил дополнительным напоминанием о старшем трамлейстере, и я ушёл на вы-бычку.

Я вытаскивал тележки из морозилок и из алюминевых противней выбивал брикеты тул завербованных «маринамов» только я шёл по судовой роли матросом добычи. Теперь я понимаю, что в отделе кадров Находкинско-Орегонского отделения морского рыболовства работали великие знатоки чёрного юмора. Послать матросом палубы человека, никогда прежде не ступавшего на палубу, это, знаете, надо быть морозилом-заморозилом. Впрочем, тогда мне было не до смеха.

Старший трамлейстер нетерпеливо обошёл меня, нисколько не смущаясь, что осматривает оценивающе-придирчиво свёрчок и зелье не покусывает? Меня задело, что сам я, мой интеллект вроде как бы и ни при чём — живой товар, в чём-то схожий с рабочей лошадью, и только. Он удивился моё состоянию, презрительно-насмешливо заглянул в мои глаза и нагнетая — левой рукой чуть-чуть обнажил клинок и, повернувшись к капитану, сказал, что нет, он не возьмёт меня на палубу ни за какие коврижки. Старший трамлейстер сел на стул, глядя ладонью по рукоятки и словно поставил точку.

— На фабрику, — приказал капитан, а глаза мои всё ещё ослеплял просерверк клинка — «нет!».

Ванкуверо-Орегонская банка тянется вдоль берега от Лос-Анджелеса до островов Королевы Шарлотты. Фабрика. О хек сербистый, о минтай голубоблазий! Я стоял на фасовке в красных резиновых перчатках и не чувствовал с рук, потому что ночью мы «отрывались» от экспедиции и гаюком промывали серого окуля, оберегаемого всеми возможными и невозможными международными конвенциями. Однажды кончилась и его герметичность, и раз — «кусать хочется». И мы браконьерничали

